

Шестов Л. Предпоследние слова filosoff.org
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://filosoff.org/> Приятного чтения!

Шестов Лев Предпоследние слова.

De omnibus dubitandum.[1 - Всё подвергать сомнению (лат.).] Теперь уже среди философов осталось мало правоверных гегельянцев, но Гегель все еще продолжает владеть умами наших современников. Некоторые идеи его и теперь, пожалуй, пустили более глубокие корни, чем в эпоху расцвета гегельянства. Например, мысль, что история есть раскрытие идеи в действительности или, выражаясь кратко и в терминах, более близких современному уму, идея прогресса. Попробуйте переубедить в этом пункте образованного человека: наверное потерпите поражение. Но - de omnibus dubitandum - иначе говоря, в тех случаях, когда убеждение особенно крепко и непоколебимо, сомнение и призвано исполнить великую свою миссию. А потому, хочешь не хочешь, приходится сделать допущение, что так называемый прогресс, т. е. развитие человечества во времени - есть фикция. Хотя у нас есть беспроводный телеграф, радиий и все прочее, но все же мы стоим не выше древних римлян или греков. Допускаете?

В таком случае еще один шаг: хотя у нас есть беспроводный телеграф и все прочие блага цивилизации, а все же мы стоим не выше краснокожих и чернокожих дикарей. Вы протестуете - но принцип обязывает: начали сомневаться, так уже нечего пятиться.

В свой черед я должен признаться, что мысль о духовном совершенстве дикарей явилась у меня, когда недавно, впервые после многих лет, я случайно пересматривал сочинения Тайлора, Леббока и Спенсера. Они до такой степени уверенно говорят о преимуществах нашей душевной организации и так искренне презирают нравственное убожество дикарей, что я поневоле подумал: не кроется ли именно здесь, где все так уверены, что никто никогда не проверяет, источник заблуждения? Es ist höchste Zeit вспомнить Декарта и его правило! И как только я начал сомневаться - вся моя прежняя уверенность (ведь я, конечно, всецело разделял мнение английских антропологов) была такова... Мне стало казаться, что дикари в самом деле выше и значительнее наших ученых и не только материалистов, как думает проф. Паульсен, но также идеалистов, метафизиков, мистиков и даже верующих миссионеров (искренне верующих, а не искателей наживы и приключений), которых Европа высылает в другие части света для просвещения отсталых братьев. Мне показалось, что обычные у дикарей долговые сделки с условием их оплаты в загробном мире имеют глубочайший смысл. Я уже не говорю о человеческих жертвоприношениях! Спенсер видит в этом варварство, как и полагается образованному европейцу. Я тоже вижу варварство, ибо я тоже европеец и тоже учился наукам. Но я глубоко завидую их варварству и проклинаю свою культурность, загнавшую меня вместе с верующими миссионерами, философами идеалистами, позитивистами и материалистами в тесные пределы душевного и постылого постигаемого мира. Мы можем писать книги о бессмертии души, но наши жены не пойдут за нами в иной мир, а предпочтут влачить свою вдовью долю здесь на земле. Наша нравственность, основанная на религии, запрещает нам торопиться к вечности. И так во всем. Мы предполагаем, в лучшем случае, по-маниловски мечтаем, но жизнь наша протекает вне наших предположений и мечтаний. Кой-кто принимает еще церковные обязанности - как бы они ни были странны, и серьезно воображает, что таким способом он соприкасается мирам иным. Дальше обрядностей никто не шагу. Кант умер 80 лет от роду, если бы не холера, Гегель прожил бы сто лет, а у дикарей - у дикарей молодые убивают стариков и... не договариваю, чтоб не оскорблять слуха чувствительных людей. Снова напоминаю Декарта и его правило и спрашиваю: кто прав, дикари или мы? И если правы дикари, то есть ли история раскрытие идеи? И прогресс во времени (т. е. развитие от прошлого к настоящему и будущему) не есть ли чистейшее заблуждение? Может быть, и даже вероятнее всего, и есть развитие, но направление этого развития есть линия перпендикулярная к линии времени. Основанием же перпендикуляра может быть любая человеческая личность. Да простит мне Бог и читатель неясность последних слов. Надеюсь, что она в некоторой степени искупается ясностью предыдущего изложения.

Самоотречение и *mania grandiosa*. [2 – Мания величия (лат.).] Нужно думать, что ничего верного ни о самоотречении, ни о мании величия сказать не удастся, хотя каждый из нас по собственному опыту знает кой-что и о первом, и о второй. Но, как известно, невозможность разрешить вопрос никогда еще не удерживала людей от размышлений. Скорее наоборот: наиболее заманчивые для нас вопросы это те, на которые нет настоящего, обязательного для всех ответа. Я надеюсь, что рано или поздно философия получит, в противоположность науке, такое определение: философия есть учение о ни для кого не обязательных истинах. Этим раз навсегда будет устранен столь часто посылаемый ей упрек, что собственно философия сводится к ряду взаимно опровергающих мнений. Это – верно, но за это ее хвалить, а не упрекать надо, в этом нет ничего дурного, в этом есть много, очень много хорошего. А вот что у науки есть общеобязательные суждения – это дурно, мучительно дурно. Ведь всякая обязательность только стеснение. Временно можно согласиться на стеснение, надеть корсет, вериги, временно можно на что угодно согласиться. Но кто добровольно признает над собой вечный закон? Даже у спокойного и ясного Спинозы мне слышится порой глубокий вздох. И я думаю, что это он вздыхает по свободе – он, растративший всю свою жизнь, весь свой гений на прославление необходимости... После такого предисловия можно уже говорить что угодно.

Мне кажется, что и самоотречение, и *mania grandiosa*, как, по-видимому, мало они ни похожи друг на друга, могут быть наблюдаемы последовательно, даже одновременно в одном и том же человеке. Аскет, отказавшийся от жизни, смиряющийся пред всеми и сумасшедший (вроде нищие или Достоевского), утверждающий, что он есть светоч, соль земли, первый во всем мире или даже во вселенной, и тот, и другой приходят к своему безумию (надеюсь, нет надобности доказывать, что самоотречение, как и мания величия, есть вид безумия) при условиях, большей частью тождественных. Мир не удовлетворяет человека, и он начинает искать лучшего. Всякие же серьезные искания приводят человека на одинокие пути, а одинокие пути, как известно, кончаются китайской стеной, роковым образом полагающей предел человеческой пылкости. И вот возникает задача: воспротивиться року и так или иначе перебраться через стену, преодолеть либо закон непроницаемости, либо столь же непреодолимый закон тяготения. Иначе говоря, обратиться либо в бесконечно малую, либо в бесконечно большую величину. Первый способ и есть самоотречение: мне ничего не нужно, я сам ничтожество, я бесконечно мал и, стало быть, могу пройти через бесконечно малые поры стены.

Второй способ – *mania grandiosa*. Я бесконечно силен, бесконечно велик, я все могу, могу разбросать стену, могу перешагнуть через нее, хотя бы она была выше всех гор земных и до сих пор отпугивала даже самых могучих и самых смелых. Таково, вероятно, начало двух загадочнейших и величайших душевных превращений. Нет ни одной религии, в которой бы с большей или меньшей ясностью не отпечатлелись бы следы описанных выше приемов борьбы человека с ограниченностью его сил. В аскетических религиях преобладает тенденция к самоотречению: буддизм прославляет полное уничтожение личности и идеалом считает нирвану. Древние греки мечтали о титанах и героях. Евреи считают себя избранным народом и ждут Мессии. Что касается Евангелия, – то трудно сказать, какому способу борьбы здесь отдается предпочтение. С одной стороны – великие чудеса: воскрешение мертвых, исцеление больных, власть над ветрами и морем, с другой стороны: блаженны нищие духом, Сын Божий, который будет некогда сидеть одесную силы, теперь живет в обществе мытарей, нищих, блудниц и служит им. Кто не за нас, тот против нас, обещание низвергнуть врагов к подножию ног и в геенну огненную, вечная пытка за хулу на Духа Святого – и наряду с этим заповедь величайшего смирения и любви к врагам: ударившему по одной щеке повелевается подставить другую. Евангелие все сплошь пропитано противоречиями, не внешними, не историческими и фактическими, а внутренними, противоречиями в настроениях, в "идеалах", как выразился бы современный человек. Что возносится в одной главе, как высшая задача, то низводится в другой, как недостойное дело. Нет ничего удивительного, что самые противоположные учения нашли себе оправдание в этой небольшой, наполовину состоящей из повторений книге. Христианами называли себя и инквизиторы, и иезуиты, и древние подвижники, христианами называют себя и современные протестанты, и наши русские сектанты. В большей или меньшей степени все правы, даже, пожалуй, и протестанты. В Евангелии скрещиваются столь противоположные течения, что люди, в особенности люди большой дороги, умеющие двигаться лишь в одном направлении и под одним,

Шестов Л. Предпоследние слова filosofff.org

всем видимым знаменем, люди, привыкшие верить в единство разума и непрерываемость логических законов, никогда не могли охватить целиком евангельского учения и всегда стремились придать словам и делам Христа единообразное, исключающее противоречия и более или менее соответствующее обычным представлениям о делах и задачах жизни толкование. "Уверуй, и по твоему слову сдвинется гора" – читали они в загадочной книге и понимали это в том смысле, что всегда, ежечасно и ежеминутно нужно думать и желать одного и того же, заранее предписанного и вполне определенного. Меж тем, Евангелие разрешает и благословляет в этих словах самые безумные и рискованные опыты. То, что есть, для Христа не существовало и существовало лишь то, чего нет.

Древний римлянин – Пилат, например, по-видимому, образованный, умный и недурной, хотя слабохарактерный человек, недоумевал и не мог дать себе отчета, из-за чего тут происходит такая страшная борьба. Ему от всей души было жаль приведенного к нему бледного молодого еврея, очевидно, ни в чем неповинного. "Что есть истина?" – спросил он Христа. Христос не ответил ему, да и не мог ответить – не по "невежественности", как хотели думать язычники, а потому, что словами на этот вопрос и ответить нельзя. Нужно было, метафорически говоря, взять Пилата за голову и повернуть в другую сторону, чтоб он увидел то, чего никогда не видел. Или, еще лучше, прибегнуть к тому способу, которым пользуется в сказке конек-горбунок, чтоб обратить сонного Иванушку в умницу и красавца: сначала в котел с кипящим молоком, потом в другой – с кипящей водой, потом в третий с водой студеной. Есть все основания думать, что после такой подготовки Пилат стал бы иначе спрашивать. Мне кажется, что конек-горбунок согласился бы, что самоотречение и *mania grandiosa* вполне могут заменить предлагаемые сказкой котлы.

Великие лишения и великие иллюзии до такой степени меняют природу человека, что казавшееся невозможным становится возможным и недостижимое – достижимым.

III

Вечные истины. Ксенофонт в Меморабилиях рассказывает про встречу Сократа с знаменитым софистом Гиппием. Когда Гиппий пришел к Сократу, последний, по обыкновению, вел беседу и, по обыкновению же, удивлялся тому, что люди, когда им нужно обучиться плотницкому или кузнечному ремеслу, знают, к кому обратиться, но если пожелают научиться добродетели, не могут никак найти учителя. Гиппий, который уже много раз слышал от Сократа эти рассуждения, иронически заметил: "Неужели ты и теперь, Сократ, говоришь все то же, что я давно когда-то слышал от тебя?" Сократ понял и принял вызов, как вообще всегда охотно принимал такого рода вызовы. Начался спор, из которого выяснилось, что на этот раз (как и всегда у Платона и Ксенофонта) Сократ оказался более сильным диалектиком, чем его противник. Ему удалось доказать, что его понятие о справедливости имеет столь же незыблемое основание, как и все прочие, высказываемые им суждения, и что вместе с тем однажды составленные убеждения, если они истинны, так же мало подвержены действию времени, как благородные металлы действию ржи.

Сократ жил 70 лет, был однажды юношей, однажды мужем, однажды стариком. Но если бы он прожил сто сорок лет, второй раз испытал все три возраста жизни и потом снова встретился с Гиппием? Или, что еще лучше, – если душа, как учил Сократ, бессмертна и Сократ в настоящее время живет где-нибудь на Луне, Сириусе или в ином предназначенном для бессмертных душ месте, неужели он и там до сих пор донимает своих собеседников разговорами о справедливости, плотниках и кузнецах? И теперь, как когда-то, выходит победителем из спора с Гиппием и другими людьми, решающимися утверждать, что законам времени может и должно подчиняться все, в том числе и человеческие убеждения и, что от такого рода подчинения человечество не только ничего не теряет, но даже много выигрывает.

IV

Земля и небо. Слово "справедливость" на устах у всех. Но в самом ли деле справедливость в такой цене у людей, как это может показаться, если поверить тому, что о ней говорилось и говорится? Более: ценят ли ее в такой мере ее присяжные защитники и хвалители-поэты, философы, моралисты, богословы – даже лучшие из них, наиболее искренние и даровитые? Я позволю себе очень и очень сомневаться в этом. Посмотрите творения любого мудреца древнего и нового мира. Справедливость – если ее понимать как равенство всех живых людей пред законами творения – а как ее иначе понимать? – никого никогда не занимала. Платон ни разу не спрашивает судьбу, отчего она Терсита создала презренным, а Патрокла – благородным. Платон убеждает людей быть справедливыми, но ни разу не решает допросить богов по поводу их несправедливости. Если вслушаться в его речи, то, пожалуй, иной раз западет в душу подозрение, что справедливость есть добродетель для смертных, у бессмертных же свои собственные добродетели, ничего общего со справедливостью не имеющие. И вот последнее искушение для земной добродетели. Мы не знаем, смертна или бессмертна человеческая душа. Одни, как известно, верят в бессмертие, другие такую веру высмеивают. Если бы оказалось, что и те и другие неправы и что судьба людей после смерти, как и при жизни, далеко не одинакова: удачники, избранники переселяются на небеса, остальные остаются гнить в могилах и гибнуть вместе со своей смертной оболочкой. Такое допущение, мимоходом правда, делает наш русский пророк, жрец любви и справедливости Достоевский в "Легенде о великом инквизиторе". Так вот, если бы оказалось, что Достоевский действительно бессмертен, а бесчисленное количество его верующих учеников и поклонников, та огромная масса серого (во всех смыслах) люда, о которой идет речь в "Великом инквизиторе", кончает свою жизнь со смертью, как и начинает с рождения – примирился ли бы человек, и не какой-нибудь первый попавшийся, а хотя бы сам Достоевский, которого я здесь не случайно назвал, а умышленно, как наиболее горячего защитника идеи справедливости (на земле бывали еще более горячие, страстные и замечательные защитники справедливости, может быть, их следовало бы назвать, – но на этот раз я не хочу кощунствовать, – кому Достоевский покажется малым, пусть сам назовет другого), итак, примирился ли бы Достоевский с такой несправедливостью, т. е. восстал бы ли он в загробном мире против неправды или, заняв уготовленное ему там место, позабыл бы о своих бедных братьях? А priori[3 – До опыта (лат.)] судить трудно, но a posteriori[4 – На основании опыта (лат.)] нужно думать, что забыл бы. Ведь между Достоевским и мелким провинциальным писателем, между первыми и последними на земле тоже разница колоссальная, и несправедливость такого неравенства вопиет к небесам. Тем не менее мы, ничего, живем здесь и не вопим, а если и вопим, то очень редко, причем, по правде говоря, трудно с уверенностью сказать, отчего, собственно, мы вопим: оттого ли, что хотим привлечь внимание равнодушного неба, или оттого, что среди наших ближних есть много любителей воплей (литературных дарований). Вроде странницы в "Грозе", которая страсть любила, когда кто хорошо воет. Все эти соображения могут показаться особенно важными тем, которые, подобно мне в настоящую минуту (за завтрашний день не ручаюсь) разделяют суждение Достоевского, что если и существует бессмертие, то, разумеется, не для всех, а для некоторых. Причем я еще, в согласии с Достоевским, допускаю, что воскреснут именно те, которых, по существующим предположениям, ждет худшее после смерти. Первые здесь будут первыми и там, а от последних не останется даже и воспоминания. И за погибших некому даже будет вступить: Достоевские, Толстые и все другие "первые", которым удастся попасть на небо, будут заняты несравненно более важными делами...

Теперь, если угодно, продолжайте заботиться о справедливом устройстве на земле и кладите, вслед за Платоном, учение о справедливости в основание философии.

V

Сила доказательств. Шопенгауэр вопрос о бессмертии души разрешал отрицательно. По его мнению, человек как Ding an sich[5 – Вещь в себе (нем.)] бессмертен, но как явление – смертен. Иначе говоря, все, что есть в нас индивидуального, существует лишь в промежутке между рождением и смертью, но так как каждый индивидуум, по учению Шопенгауэра, есть

Шестов Л. Предпоследние слова filosoff.org
проявление "воли" или "Ding an sich", того вечного и неизменного начала, которое представляет из себя единую сущность мира, объективирующуюся во множественности явлений, то постольку, поскольку это начало проявляется в человеке, он – вечен. Таково, говорю, мнение Шопенгауэра, являющееся, по-видимому, последовательным логическим выводом из его общего философского учения как в той части, которая относится к Ding an sich, так и в той, которая относится к индивидууму. Первую часть мы оставим без рассмотрения: в конце концов, если Шопенгауэр ошибался и Ding an sich – смертна, – горе небольшое, подобно тому, как и бессмертию ее нет причин радоваться. Но вот индивидуум: у него отнимается право на бессмертие и в доказательство приводится соображение, на первый взгляд совершенно неопровержимое. Все, что имеет начало, имеет также и конец, говорит Шопенгауэр. Индивидуум имеет начало (рождение), стало быть, его ждет и конец (смерть). Самому Шопенгауэру и положение, и вывод казались до такой степени очевидными, что он ни на минуту не допускал возможности ошибки. А меж тем, на этот раз мы имеем бесспорный случай ошибочного заключения из ошибочной предпосылки. Ибо, во-первых: отчего все, что имеет начало, должно также иметь и конец? Эмпирические наблюдения наводят на такое предположение, – но разве эмпирических наблюдений достаточно, чтоб создавать предпосылки? И разве так добытые предпосылки вправе мы применять в качестве незыблемых положений для разрешения важнейших философских вопросов? А затем, допустим даже, что посылка правильна, все же вывод, к которому пришел Шопенгауэр, сделан неверно. Может быть, действительно, все, имеющее начало, имеет конец, может быть, индивидууму рано или поздно суждено погибнуть, но почему приурочивать момент уничтожения души к смерти тела? Может быть, тело умрет, а душа, которую впоследствии ждет та же участь, хоть немного, не на веки вечные, как думают крайние оптимисты, да поживет еще, разыскавши себе более или менее подходящую материальную оболочку где-нибудь на дальней, может, еще неизвестной нам планете. Как важно было бы бедному человечеству хоть такую надежду сохранить! Тем более, что едва ли мы знаем наверняка, чего желают люди, когда говорят о бессмертии души. Точно ли им непременно нужно вечно жить, или они удовольствовались бы еще одной, двумя жизнями, особенно если бы последующие жизни оказались бы не столь обидно незначительными, как наше земное существование, в котором даже чин XIV класса составляет для многих недостижимый идеал. Мне кажется, что далеко не всякий согласится жить вечно. А что, если исчерпаются все возможности и начнутся бесконечные повторения?..

Из сказанного, конечно, не следует, что мы имеем право рассчитывать на загробное существование: вопрос по-прежнему остается открытым и после опровержения шопенгауэровских доказательств. Но несомненно следует, что самые лучшие доказательства при ближайшем рассмотрении часто оказываются никуда негодными. Quod demonstrandum erat[б – что и доказано (лат.).] – разумеется, до тех пор, пока не найдутся доказательства, которые опровергнут мои опровержения доказательств Шопенгауэра. Оговорку эту сделал для того, чтобы лишить критиков удовольствия и возможности поиграть словами.

VI

Лебединые песни. Нельзя сомневаться в том, что "Когда мы, мертвые, пробуждаемся" – одна из наиболее автобиографических пьес Ибсена. Почти все его драмы носят заметные следы личных переживаний – даже более того, по-видимому, самое ценное в них, это возможность проследить историю внутренней борьбы автора. Но, быть может, особенное значение среди остальных драм имеет "Когда мы, мертвые, пробуждаемся" ввиду того, что вещь задумана и написана автором в глубокой старости. Для тех, кому интересно подслушать и подсмотреть, о чем говорят и что делают на окраинах жизни, чрезвычайно ценна возможность общения с глубокими стариками, с умирающими, вообще с людьми, поставленными в исключительные условия, особенно в тех случаях, когда эти люди не боятся говорить правду и выработали себе прошлым опытом искусство и смелость (нужно и то, и другое) глядеть прямо в глаза действительности. Ибсен оказывается даже интереснее, чем Толстой. И Толстому его дарование не изменило до сих пор, но Толстой прежде всего моралист. Для него сейчас, как и в молодости, власть над людьми дороже всего и кажется обаятельнее всех прочих благ мира. Он все еще продолжает приказывать, требовать и хочет, чтоб ему во что бы то ни стало

повиновались. Можно и даже должно, пожалуй, с вниманием и уважением относиться к этой особенности толстовской природы. Ведь не один Толстой, а многие царственные отшельники мысли до конца своей жизни предъявляли к человечеству безусловные требования подчинения. Сократ в день смерти, за час перед смертью учил, что есть лишь одна истина и именно та, которую он открыл. Платон, будучи глубоким стариком, ездил в Сиракузы насаждать свою мудрость. Вероятно, такое упорство великих людей имеет свое объяснение и свой глубокий смысл.

И Толстому, и Сократу, и Платону, и еврейским пророкам, которые в этом отношении, как и во многих других, были очень похожи на учителей мудрости, вероятно, нужно было всецело сосредоточить свои силы на одной огромной внутренней задаче, условием удачного выполнения которой является иллюзия, что весь мир, вся вселенная действует заодно и в унисон с ними. Я уже указывал по поводу Толстого, что в настоящее время он в своем миропонимании находится на границе солипсизма. Толстой и весь мир – равнозначные понятия: без такого временного заблуждения всего его существа (не умственной, головной ошибки: голова знает хорошо, что мир – сам по себе, Толстой – сам по себе) ему пришлось бы отказаться от самого важного своего дела. Это вроде того, как все мы знаем после Коперника, что Земля движется вокруг Солнца, знаем, что каждая из звезд не чистый и ясный золотой кружок, а огромная глыба разнообразного состава, что голубого, твердого купола нет над нами. Знаем – а тем не менее не можем и не хотим ослепить себя, чтоб не любоваться ложью оптических иллюзий видимого мира. Так называемая истина имеет для нас только ограниченную ценность. Жертва Галилея отнюдь не опровергает мои слова. *E pur si muove*, [7 – А всё-таки она движется (итал.).] если он и произнес эту фразу, она могла вовсе и не относиться к движению Земли, хотя говорилось о Земле. Галилей не хотел предавать дела своей жизни. Кто нам, однако, поручится, что на такое самопожертвование способен не только Галилей, но и ученик его, хотя бы самый преданный и смелый ученик, из уст учителя, а не собственной борьбой добывший новую истину? Апостол Петр за одну ночь трижды отказался от Христа. Теперь, вероятно, во всем мире мы не нашли бы ни одного человека, который бы согласился умереть в доказательство и ради защиты идеи Галилея. По-видимому, великие люди очень мало склонны посвящать в тайны своих великих дел посторонних лиц. По-видимому, даже они сами не всегда умеют дать себе ясный отчет в характере и смысле поставляемых ими себе задач. Сам Сократ, так упорно искавший всю жизнь свою ясности, выдумавший для этой цели диалектику и введший во всеобщее употребление определения, имевшие своим назначением фиксировать текучую действительность, Сократ, перед смертью тридцать дней подряд убеждавший своих учеников в том, что он умирает ради истины и справедливости, – сам Сократ, говорю я, может быть, и даже вероятнее всего так же мало знал, зачем он умирает, как знают об этом простые люди, умирающие естественной смертью, или как знают родившиеся на свет младенцы, кто и какой – враждебной либо благожелательной властью – вызвал их от небытия к бытию. Такова наша жизнь: в ней мудрецы и глупцы, старики и младенцы идут наугад к целям, которые не обнаружены до сих пор ни светскими, ни духовными, ни обыкновенными, ни священными книгами. Все эти соображения я напомнил отнюдь не затем, чтоб лишний раз посрамить догматизм. Я всегда был убежден и до сих пор уверен, что догматики сраму не имеют, и что их никоим образом не выживешь со свету. В последнее же время я, кроме того, пришел к заключению, что догматики совершенно правы в своем упорстве. Вера, потребность веры сильна, как любовь, как смерть. По отношению к каждому догматику я в настоящее время считаю своей священной обязанностью вперед идти на все уступки, вплоть до признания малейших и незначительнейших оттенков его убеждений и верований. Единственное ограничение, очень незаметное, почти невидимое: его убеждения не должны быть безусловно общеобязательными, т. е. для всех без исключения людей. Большинство, огромное большинство – миллионы, даже миллиарды людей я ему охотно уступаю при предположении, что они сами того захотят, или что он окажется достаточно искусным, чтоб переманить их на свою сторону (ведь насилие в деле веры недопустимо?). Словом, я ему уступаю почти всех людей, зато он должен согласиться, что для оставшихся единиц или десятков его убеждения внутренне не обязательны (на внешнюю покорность я иду). Так что догматик после такой победы – мое признание ведь для него полная победа – должен считать себя вполне удовлетворенным.

Сократ был прав, Платон, Толстой, пророки – правы, есть только одна истина, один Бог, истина вправе уничтожать ложь, свет – тьму, Бог, всезнающий, всеблагой и всемогущий, как Александр Македонский, завоеует почти весь известный ему мир и из своих владений при торжественных и радостных кликах

миллиардов верноподданных изгонит дьявола и всех непокорных божескому слову. Но от власти над душами своих немногочисленных противников, согласно условию, откажется, и несколько отступников, собравшись на отдаленном и невидимом для миллиардов острове, будут продолжать свою вольную, особенную жизнь. И вот – чтобы вернуться к началу – среди этой горсточки непокорных окажется и Ибсен, каким он был в последние годы своей жизни, каким он рисуется в последней драме. Вероятно, мы там и нашего Гоголя встретим. Ибо в "Когда мы, мертвые, пробуждаемся" Ибсен санкционирует и прославляет то, что пятьдесят лет тому назад сделал Гоголь. Он отказывается от своего искусства, с ненавистью и с насмешкой вспоминает о том, что было когда-то делом его жизни. 15 апреля 1866 года Ибсен писал королю Карлу: "Я не борюсь за беззаботное существование, я борюсь за свою жизненную задачу, в которую непоколебимо верю и которую, я знаю, Бог возложил на меня". К слову сказать, вы не назовете почти никого из великих деятелей, который не повторял бы в той или иной форме приведенного утверждения Ибсена. По-видимому, без такого рода иллюзии, временной или постоянной, невозможна та напряженная борьба и те жертвы, ценой которых покупаются великие дела. По-видимому, даже и для успеха малых дел необходимы разного рода иллюзии. Ведь для того, чтобы маленькому человеку сделать свое микроскопическое дело, ему тоже часто приходится до крайности напрягать свои маленькие силеньки. И кто знает? – не казалось ли Акакию Акакиевичу, что Богом на него возложена задача аккуратно переписывать канцелярские бумаги и сшить себе новую шинель? Он, конечно, никогда бы этого не дерзнул, да и не умел бы сказать, прежде всего по своей робости, а затем еще и потому, что не владел даром слова. Музы же бедным и слабым людям не несут своей дани: они воспевают только Крезов и Кесарей. Но несомненно, что первые в деревне считают себя так же отмеченными судьбой, как и первые в Риме. Цезарь чувствовал это, и в нем говорило не одно только честолюбие, когда он произносил свою известную фразу. Люди не верят себе и стремятся всегда занять такое положение, при котором у них возникает правильная или ложная уверенность, что они находятся на виду у Бога. Но с годами все иллюзии рассеиваются, рассеивается и иллюзия о том, что Бог избирает некоторых людей для своих особых целей и возлагает на них особенные поручения. Гоголь, долго так именно понимавший свою писательскую задачу, перед смертью сжигает свое лучшее произведение. Ибсен делает почти то же. В лице профессора Рубека он отрекается от своей литературной деятельности и высмеивает ее, хотя она принесла ему все, на что он мог рассчитывать: славу, почет, богатство... И из-за чего, подумайте только? Из-за того, что ему пришлось пожертвовать в себе мужчиной ради художника, покинуть Ирену, которую он любил, и жениться на женщине, к которой он был равнодушен. Или, под конец жизни, Ибсен выяснил себе, что сам Бог возложил на него задачу быть мужчиной? Но ведь мужчины все, художники – единицы. Если бы это сказал не Ибсен, а простой смертный, мы назвали бы это величайшей пошлостью. Но в устах Ибсена, семидесятилетнего старика, автора "Бранда", того "Бранда", из которого европейские священники черпают темы и материал для проповедей, в устах Ибсена, написавшего "Кесарь и Галилеянин", такое признание приобретает неожиданный и загадочный смысл. Тут уж не отделаешься качаньем головы, презрительной усмешкой. Не кто-нибудь – сам Ибсен говорит. Первый человек не в деревне, не в Риме даже – первый во всем мире. Говорит громко, уверенно, *urbī et orbī*. [8 – на весь мир (лат.).] Вот уж подлинно человеческий закон: от тюрьмы и от сумы не зарекайся. Может быть, тут уместно будет вспомнить о лебединых песнях Тургенева. У Тургенева тоже были высокие идеалы, которые, вероятно, ему казались полученными непосредственно от Бога. фразу, которой заканчивается замечательная статья его "Гамлет и Дон Кихот", можно смело вложить в уста самому Бранду. "Все проходит – добрые дела остаются" – в этих словах весь Тургенев, лучше сказать – весь сознательный Тургенев того периода своей жизни, к которому относится названная статья. Впрочем, не только того – до последних минут жизни сознательный Тургенев не отказался бы от этих слов. Но в "стихотворениях в прозе" звучит совсем иной мотив. Все, о чем он там рассказывает, как и все, о чем рассказывает Ибсен в последней своей драме, пропитано одной бесконечной, неутолимой тоской о бесплодно растроченной жизни, – жизни, ушедшей на проповедь "добра". И ни молодости, ни здоровья, ни прежних сил не жаль! Может быть, и смерть не страшна... Чего не может вытравить из себя старик Тургенев – это воспоминания о "русской девушке". Он писал и воспел ее, как никто другой до него в русской литературе не описывал, но она была для него только моделью, он не прикоснулся к ней, как Рубек-Ибсен к Ирене, и ушел к Виардо. И это страшный грех, ничем не искупаемый, смертный грех – тот, о котором говорится в Библии. Все простится, все проходит, все забудется – это преступление навеки останется. Таков смысл "Senilia" Тургенева, таков смысл "Senilia" Ибсена. Я нарочно назвал слово "Senilia",

Шестов Л. Предпоследние слова filosoffoff.org

хотя мог бы говорить о лебединых песнях и хотя правильной было бы говорить о лебединых песнях. "Лебеди, - рассказывает Платон, - когда чувствуют приближение смерти, поют в этот день лучше, чем когда бы то ни было, радуясь, что они найдут Бога, которому они служат". Ибсен и Тургенев служили тому же Богу, что и лебеди, по верованию греков, - светлому богу песен Аполлону. И их последние песни, их *Senilia* были лучше, чем все прежние. В них бездонная, страшная для глаза, но какая дивная глубина! Все там по-иному, чем здесь у нас на поверхности. Довериться ли соблазну, идти ли на призыв великих стариков, или привязать себя к мачте проверенных общечеловеческим опытом убеждений и зажать уши, как сделал когда-то хитроумный Одиссей, чтоб спастись от сирен? Есть выход, есть слово, которым можно разрушить очарование. Я назвал уже его: *Senilia*. Тургенев хотел так озаглавить свои "стихотворения в прозе". Проявления болезни, немощности, старости. Это - страшно, от этого нужно бежать! Шопенгауэр, философ-метафизик боялся в старости переделывать свои юношеские произведения. Ему казалось, что он может испортить их одним своим прикосновением. И все не верят старости, все разделяют опасения Шопенгауэра. А что, если все ошибаются? Что, если *Senilia* приближают нас к истине? Может быть, вещи птицы Аполлона тоскуют неземной тоской по иному бытию, может, их страх относится не к смерти, а к жизни, может быть, и в стихотворениях Тургенева, и в последней драме Ибсена уже слышны, если не последние, то, по крайней мере, предпоследние человеческие слова.

VII

Что такое философия? В учебниках философии на этот вопрос вы найдете самые разнообразные ответы. За две с половиною тысячи лет своего существования философия имела возможность сделать огромное количество попыток определить сущность своей задачи. Но соглашение между признанными представителями любителей и любимцев мудрости до сих пор еще не достигнуто. Всякий судит по-своему, свое суждение считает единственно истинным - но о *consensus sapientium*[9 - Согласие мудрецов (лат.).] здесь даже и мечтать нельзя. Но, странным образом, именно в этом спорном пункте, где так невозможно соглашение ученых и мудрецов, вполне достигнуто *consensus profanorum*. [10 - Согласие профанов (лат.).] Все те, кто никогда философией не занимался, кто вообще никогда не читал ученых книг, даже никаких книг, с редким единодушием отвечают на наш вопрос. Правда, об их мнениях нельзя; по-видимому, прямо судить, потому что такого рода люди совсем не умеют говорить выработанным наукой языком, никогда в такой форме вопроса не ставят и еще менее умеют отвечать на него принятыми словами. Но у нас есть одно важное косвенное указание, которое дает нам право сделать заключение. Несомненно, что все те люди, которые шли к философии за ответами на мучившие их вопросы, уходили от нее разочарованными, если только у них не оказывалось достаточно выдающегося дарования для того, чтобы примкнуть к цеху профессиональных философов. Из этого без колебания можно сделать вывод, пока, правда, отрицательный: философия занимается таким делом, которое может быть интересным и важным только для некоторых, для многих же оно представляется скучным и ненужным.

Вывод в высокой степени утешительный как для профанов, так и для мудрецов. Ибо каждый мудрец, даже самый прославленный, вместе с тем и профан, т. е., бросив академическое словоупотребление, просто-напросто человек, с ним тоже может случиться, что и у него возникнут те мучительные вопросы, с которыми являлись к нему же обыкновенные люди, к примеру сказать, толстовский Иван Ильич или чеховский профессор (из "Скучной истории"). И тогда, разумеется, он вынужден будет признаться, что в тех толстых книгах, которые он так хорошо изучил, нужных ответов нет. И радоваться этому. Ибо, что может быть ужаснее для человека, чем необходимость в трудные минуты жизни признать обязательность какого бы то ни было философского учения? Например, думать вместе с Платоном, Спинозой или Шопенгауэром, что главная задача жизни - нравственное совершенствование, иначе говоря, самоотречение. Хорошо было Платону проповедовать справедливость! Это ему несколько не мешало быть сыном своего времени, т. е. в допустимых размерах нарушать заповеди, им же возвещаемые, Спиноза, по всем видимостям, был гораздо выдержаннее и последовательнее Платона, он на самом деле держал страсти в повиновении. Но это был его личный, индивидуальный вкус. Последовательность была не только свойством его ума, но всей его натуры. Проявляя ее, он проявлял себя. Что

до Шопенгауэра, то он, как известно, восхвалял добродетели только в своих книгах. В жизни же, как и всякий независимый и умный человек, руководствовался самыми разнообразными соображениями.

Но все это – учителя, люди, выдумывающие системы и императивы. Ученик же, ищущий у философии ответов на свои вопросы, не может разрешать себе никаких вольностей и отступлений от общих правил, ибо сущность и основная задача каждого учения сводится к тому, чтоб подчинить не только поведение людей, но и жизнь всей вселенной единому регулируемому принципу. Отдельные философы такие принципы находили, но окончательного соглашения между философами до сих пор еще нет, и это до некоторой степени облегчает положение тех несчастных, которые, потеряв надежду отыскать помощь и руководство в иных местах, обратились к философии. Раз тут нет общего, всеми признанного, обязательного принципа, – значит, что пока, по крайней мере, разрешается каждому думать, чувствовать и даже поступать по-своему. Можно послушаться Спинозы, можно и не послушаться. Можно преклониться пред вечными идеями Платона, но можно отдать предпочтение всегда изменчивой, текучей действительности. Наконец, можно принять пессимизм Шопенгауэра, но никто и ничто не в силах навязать вам безбрачие на основании того, что Шопенгауэр удачно высмеивал любовь. И чтоб завоевать себе такую свободу, вовсе нет нужды вооружаться легкой диалектикой древнего греческого философа, тяжеловесной логикой бедного голландского еврея или тонким остроумием глубокомысленного немца. Их вовсе и оспаривать не нужно. Можно даже со всеми согласиться. Мировое пространство бесконечно и не только вместит в себя всех когда-либо живших и имеющих народиться людей, но даст каждому из них все, чего он пожелает. Платону – мир идей, Спинозе – единую, вечную и неизменную сущность, Шопенгауэру – буддийскую нирвану. Каждый из них и все другие, здесь не упомянутые философы, светские и духовные, найдут во вселенной то, что им нужно, вплоть до веры, даже убеждения, что их учения суть единственно истинные и всеобъемлющие учения. Но одновременно и профаны отыщут для себя подходящие миры. Из того, что на земле людям тесно, из того, что здесь приходится неимоверными усилиями отвоевывать каждую пядь земли и даже наши призрачные свободы, никак не следует, что бедность, темнота, деспотизм должны считаться вечными, премирными началами, и что экономное единство есть последнее прибежище для человека. Множественность миров, множественность людей и богов среди необъятных пространств необъятной вселенной, – да ведь это (да простится мне слово) идеал! Правда, не идеалистически обоснованный. Зато, какой вывод впереди! Философов спорящих и доказывающих мы оставим в стороне, раз дело дошло до богов. По существующим верованиям и предположениям и боги всегда ссорились меж собой и боролись. Даже в монотеистических религиях люди всегда принуждали своего Бога вступать в борьбу и даже придумывали для него нарочитого соперника – дьявола. Люди никак не могут отделаться от мысли, что на небе все происходит совсем как на земле, и все свои, как дурные, так и хорошие качества приписывают также и небожителям. Меж тем как, вероятнее всего, многого из того, что по нашим представлениям совершенно неотделимо от жизни, на небе нет. Нет, между прочим, и борьбы. И это – хорошо. Ибо всякая борьба неизбежно рано или поздно переходит в драку. Когда исчерпывается запас логических и этических доводов, непримирившимся противникам остается одно – вступить в рукопашную, которая обыкновенно и решает исход дела. Оценка логических и этических соображений произвольна, материальная же сила измеряется пудо-футами, ее даже можно заранее учесть. Так что, стало быть, там, где, по общему предположению, не будет пудо-футов, исход борьбы очень часто будет оставаться нерешенным. Когда лермонтовский демон направляется в келью Тамары, его встречает на пути ангел. Демон говорит, что Тамара принадлежит ему, ангел требует ее себе. Словами и доводами демона не переубедишь: не на таковского напали. Об ангеле и говорить нечего: он ведь всегда считает себя вдвойне правым. Как разрешить спор? В конце концов, Лермонтов не умел или не смел придумать новый способ разрешения и допустил вмешательство материальной силы: Тамару у демона вырывают совсем так, как на земле более сильный хищник вырывает добычу у более слабого. По-видимому, поэт допустил такую развязку, чтоб отдать дань традиционному благочестию. По моему мнению, решение не только не благочестиво, но – прямо кощунственно. В нем ясно еще видны невытравленные следы варварства и идолопоклонства. Богу приписываются вкусы и атрибуты, о которых мечтают земные деспоты. Он непременно должен и будто бы хочет быть самым сильным, самым первым и т. д. – совсем как Юлий Цезарь в молодости. Он больше всего боится соперничества и никогда не прощает своих несмирившихся врагов. По-видимому, это грубое заблуждение. Богу совсем не нужно быть самым сильным, самым первым. Он, пожалуй, и это было бы понятно и согласно с здравым смыслом – не хотел бы быть слабее других, чтоб не подвергнуться

Шестов Л. Предпоследние слова filosofff.org
насилию, но нет никакого основания приписывать ему честолюбие или тщеславие. И нет, значит, никакого основания думать, что он не выносит равных себе, хочет быть выше всех и во что бы то ни стало уничтожить дьявола. Вероятнее всего, что он живет в мире и добром согласии даже с теми, которые менее всего приспособляются к его вкусам и привычкам. Может быть, даже охотно радуется, что не все такие, как он и охотно делит с сатаной свои владения. Тем более, что от такого деления никто ничего не проигрывает, ибо бесконечное (владения Бога бесконечны, я это признаю), разделенное на два и даже на какое угодно большое конечное число, дает в результате все-таки бесконечность.

Теперь мы можем вернуться к первоначальному вопросу и, кажется, даже дать на него ответ – два ответа даже, один от имени sapientium, другой от имени profanorum. Для первых философия есть искусство ради искусства. Каждый философ старается создать стройную, разнообразную, интересно и красиво построенную систему, пользуясь, как материалом для постройки, собственным внутренним опытом, а также личными и чужими наблюдениями над внешней жизнью. Философ тоже в своем роде художник, для которого его произведение дороже всего на свете, иногда дороже жизни. Сплошь и рядом видим мы, что философы без колебания ради своего дела жертвуют чем угодно, даже истиной. Иное дело профаны. Для них философия – точнее, то, что они называли бы философией, если бы владели научной терминологией, есть последнее прибежище. Когда материальные силы расточены, когда нечем больше бороться за отнятые права, – они бегут за помощью и поддержкой в то именно место, которого они больше всего чурались прежде. Например, Наполеон на острове Елены. Он, всю жизнь свою собиравший солдат и пушки, когда его связали по рукам и по ногам, стал философствовать. Конечно, он действовал в этой области как начинающий, очень неопытный и даже, смешно сказать, как трусливый новичок.

Он, не боявшийся ни чумных больных, ни вражеских пуль, боялся, как известно, темной комнаты. Привычные к философии люди, Шопенгауэр хотя бы, те ходят по темным комнатам смело и уверенно, хотя от выстрелов и даже менее опасных вещей сторонятся. Так вот, говорю, великий полководец, чуть ли не всеевропейский император Наполеон философствовал на острове св. Елены и даже дошел до того, что стал заискивать у нравственности, полагая, очевидно, что от нее зависит его дальнейшая судьба. Он уверял ее, что ради нее и только ради нее он затевал все свои злодейские дела – он, который до тех пор, пока на голове его была корона и в руках победоносная армия, едва ли даже знал о существовании нравственности. Но это так понятно! В 45 лет попасть в совершенно новую и незнакомую область, конечно, все будет казаться страшным и даже бесплотную нравственность примешь за властительницу судеб. И будешь думать, что ее можно обольстить сладкими речами и ложными обещаниями, как светскую даму. Но это были первые шаги непривычного человека. Наполеону так же было трудно овладеть философией, как Карлу Великому на склоне лет научиться писать. Но он знал, зачем пришел в новое место, и ни Платон, ни Спиноза, ни Кант не переубедили бы его. Может, сначала, пока еще не привык к темноте, он бы для виду согласился с признанными авторитетами, думая, что и здесь, как там, где он жил прежде, высокопоставленные особы не терпят возражений, может быть, он бы лгал перед ними, как лгал перед нравственностью – но дела своего он бы не забыл. Он пришел к философии с требованиями и не успокоился бы до тех пор, пока не получил бы своего. Он уже видел однажды, как корсиканский поручик стал французским императором. Почему же сраженному императору не вступить в последнюю борьбу?.. И примириться на самоотречении? Философия уступит, нужно только не сдаваться внутренне: так приходят к философии Наполеоны и так они ее понимают. И впредь до доказательства противного ничего не может помешать нам думать, что Наполеоны правы и что, стало быть, академическая философия не есть последнее, не есть даже предпоследнее слово. Ибо, может быть, последнее слово таят про себя неумеющие говорить, но смелые, настойчивые непримиримые люди.

VIII

Генрих Гейне. Больше ста лет прошло с рождения и пятьдесят лет после смерти этого замечательного человека, а история литературы до сих пор не свела с ним окончательных счетов. Даже немцы – его соотечественники (пожалуй, немцы в особенности), никак не могут сговориться в оценке его дарования. Одни его

считают гением, другие – бездарностью и пошляком. Притом враги его до сих пор, как и когда-то, вносят в свои нападки столько страсти, как если бы они воевали не с мертвым, а с живым противником. И ненавидят его за то, за что его ненавидели его современники. Как известно, главным образом Гейне не прощали неискренности. Никто не знал, когда он говорит серьезно, когда шутит, что любит, что ненавидит и, наконец, не было никакой возможности выяснить, верит ли он в Бога или не верит. Нужно признаться, что в значительной части своих обвинений немцы были правы. Я очень ценю Гейне, по моему мнению, он один из величайших немецких поэтов, но тем не менее, я не берусь с уверенностью сказать, что он любил, во что верил и часто не могу решить, насколько серьезно высказывает он то или иное суждение. Тем не менее, я никоим образом не могу усмотреть в его сочинениях неискренности. Наоборот, те особенности его, которые так раздражали немцев, и в которых они видят несомненные признаки неискренности, в моих глазах являются доказательствами его удивительной, единственной в своем роде правдивости. По моему мнению, если немцы впали в ошибку и ложно поняли Гейне, то причина этому гипертрофия самолюбия и власть предрассудков. Обычная манера Гейне – начать речь совершенно серьезно и закончить едкой насмешкой, сарказмом. Критики и читатели, обыкновенно поначалу не догадывающиеся, что их ждет в конце, принимали неожиданный смех на свой счет, и это страшно оскорбляло их. Уязвленное самолюбие никогда не прощает, не могли и немцы простить Гейне его насмешек. А между тем, Гейне редко оскорблял других, большинство его насмешек, главным образом, относятся к нему самому, в особенности в произведениях последнего периода его творчества, той эпохи, когда он жил в "Matrazengruft". У нас ведь тоже многие обижались на Гоголя, полагая, что он их высмеивает. Потом он признался, что описывал самого себя. И непостоянство суждений Гейне вовсе не доказывает его неискренности. Он далеко не всегда имел намерение дразнить филистеров. Он в самом деле не знал, во что ему верить, он в самом деле менял свои вкусы и привязанности и даже не всегда намеренно знал, чему он в настоящий момент отдает предпочтение. Разумеется, если б он захотел, он мог бы притвориться последовательным и постоянным. Или, если бы он был менее зорким, он мог бы, как это случается с огромным множеством людей, усвоить себе раз навсегда парадные, показные мысли и неизменно их проповедовать, нисколько не сличая их со своими действительными переживаниями и настроениями. Очень многие люди считают, что так именно и должно поступать, что нужно высказывать (особенно в литературе) только парадные, казовые, возвышенные, еще с незапамятных времен возвещенные мудрецами мысли, нисколько не справляясь о том, соответствуют ли они их собственной природе или не соответствуют. Часто жестокие, мстительные, злопамятные, себялюбивые, мелочные люди bona fide[11 – чистосердечно (лат.)] восхваляют в своих сочинениях доброту, всепрощение, любовь к врагам, щедрость, великодушие, а о своих вкусах и страстях – ни слова. Они уверены, что страсти существуют лишь затем, чтобы их подавлять, скрывать, проявлять же и выставлять напоказ нужно только убеждения. Подавить страсти редко удается, скрыть же, в особенности в книгах, очень легко. И такого рода скрытность не только не преследуется, но, как известно, поощряется. Получается столь обычная и знакомая картина: в жизни страсти судят "убеждения", в книгах "убеждения" или, как говорят, идеалы судят и осуждают страсти. Подчеркиваю, что большинство писателей убеждены, что их задача – не рассказывать о себе, а воспевать идеалы. Искренность Гейне была действительно иной. Он рассказывал о себе все или почти все. И это считалось до такой степени возмутительным, что присяжные охранители обычаев и добрых нравов считали себя оскорбленными в своих лучших возвышеннейших чувствах. Им казалось, что если бы Гейне удалось приобрести большое влияние в литературе и овладеть умами современников, то это было бы величайшим несчастьем. Рушились бы устои, с таким трудом в течение столетий созданные совокупными усилиями лучших представителей нации. Это, пожалуй, правильно: возвышенное благолепие жизни сохраняется лишь при непрерывном условии лицемерия. Чтоб было красиво, нужно многое скрывать, припрятывать как можно дальше и глубже. Больных и сумасшедших нужно загонять в больницы, нищету – в подвалы, непокорные страсти – в глубину души. Правде и свободе разрешается лишь постольку заявлять о себе, поскольку это совместимо с интересами благоустроенной внешне и внутренне жизни. Протестантство это понимало не хуже, а то и лучше, чем католичество. Строгий пуританизм возвел душевную дисциплину в высший нравственный закон, который с неумолимым, беспощадным деспотизмом правил жизнью. Брак, семья, а не любовь должна быть целью человека, и бедная Гретхен, отдавшаяся Фаусту без соблюдения установленных обрядов, принуждена была сама считать себя навеки осужденной. Внутренняя дисциплина, еще более, чем внешняя, представляемая тюремщиками и палачами, оберегала устои и давала крепость и силы как государству, так и народу. Людей не щадили, с ними и не считались.

Сотни, тысячи Гретхен обоих полов отдавались и поныне без сожаления отдаются в жертву "высших духовных интересов". Признание, уважение к описанному порядку вещей до такой степени вкоренилось в души немцев (я говорю немцев, потому что едва ли есть на земле еще один столь дисциплинированный народ), что ему покорялись даже наиболее независимые характеры. Самым страшным грехом считается не нарушение закона (всякое нарушение, объясняемое, как у Гретхен, слабостью и только слабостью, хотя и не прощальное, но менее строго осуждалось), а бунт против закона, открытое и дерзновенное нежелание повиноваться, хотя бы выразившееся в незначительном поступке. И потому всякий обыкновенно стремился прежде всего доказать свою лояльность с этой именно стороны. В большей или меньшей степени все отступало от закона, но чем больше приходилось нарушать закон в поступках, тем обязательней считалось восхваление его на словах. И такой порядок вещей ни в ком не возбуждал ни подозрения, ни неудовольствия. Он казался естественным и высоко нравственным. В нем видели признание первенства духа перед телом, разума перед страстями. А такого вопроса: да точно ли дух должен побеждать тело и разум страсти? – никто никогда и не задавал. И когда Гейне позволил себе такой вопрос поставить и по-своему разрешить, на него обрушилась вся сила негодования немцев. И прежде всего заподозрили его искренность и правдивость. "Не может быть, – говорили благочестивые люди, – чтоб он в самом деле не признавал закона. Он только притворяется". Такое предположение было тем более естественно, что тон Гейне далеко не всегда звучал твердым убеждением; у него, например, есть стихотворение, заканчивающееся следующими словами: "Тела, тела ищущу я, молодого и нежного тела. Душу можете хоть совсем в землю зарыть, – души у меня самого достаточно". Стихотворение до последней степени дерзкое и вызывающее, но в нем, как и во всех дерзких и вызывающих стихотворениях Гейне, слышен резкий смех, хохот, который нужно понимать, как выражение раздвоенности, как насмешку над собой. Он же рассказывает о своей встрече с двумя женщинами: матерью и дочерью. Обе хороши: мать – тем, что уже многое знает, дочь – невинностью. И вот поэт стоит меж ними, по его собственному выражению, как буриданов осел меж двумя вязанками сена. Опять дерзость, опять хохот – и уравновешенный немец снова раздражается. Он предпочел бы, чтоб о таких настроениях никто никогда не рассказывал. Но если уже рассказывать, то, по крайней мере, в покаянном тоне, с самобичеванием. Неуместный же смех Гейне неприличен и лишь без нужды расстраивает. Повторяю, сам Гейне далеко не всегда был уверен, что его "искренность" законна. Еще в молодости он рассказывал, что вдоль души его, как вдоль всего мира прошла трещина, расколовшая надвое единство прежних настроений. Царь Давид, когда славил Господа и добро, не вспоминал о своих темных делах (их ведь у него было немало), и если вспоминал, то лишь за тем, чтоб каяться. И он был двойствен, но умел наблюдать последовательность. Когда он плакал, он не мог и не хотел радоваться, когда каялся, он уже был далек от греха, когда молился – он не кощунствовал, когда верил – не сомневался. Немцы, воспитанные на псалмах великого царя, привыкли думать, что иначе не может и не должно быть. Они допускали еще следование различных, даже противоположных душевных состояний, но одновременное их существование казалось им немислимым и отвратительным, противоречащим божеским заповедям и законам логики. Казалось, что все, что прежде существовало отдельно, смешалось, что место строгой гармонии занял нелепый хаос. И что такое положение вещей грозит неисчислимыми бедствиями. Они не допускали мысли, что сам Гейне мог не понимать этого, в его творчестве видели проявление лживой и злой воли и взывали к человеческому и божескому суду. Обывательское раздражение дошло до крайней степени, когда выяснилось, что Гейне не смирился даже перед лицом смерти. Разбитый параличом, лежал он в своей "матрачной могиле", не в силах пошевелить ни одним членом, испытывая величайшие физические муки, не имея надежды не только на исцеление, но даже на облегчение, и все по-прежнему продолжал кощунствовать. Хуже того, с каждым днем его сарказмы становились все беспощаднее, ядовитее, утонченнее. Казалось бы, уничтоженному и раздавленному человеку оставалось только признать себя побежденным и всецело предать себя великодушью победителя. Но в немощной плоти жил сильный дух. Все помыслы его были устремлены к Богу, тяжелую десницу и власть которого он, как и всякий умирающий человек, не мог не ощущать на себе. Но его мысли о Боге, его отношение к Богу были до такой степени своеобразны, что посторонние серьезные люди только пожимали плечами. Так с Богом никто не разговаривал ни вслух, ни про себя. Обыкновенно мысль о Боге внушает смертным либо трепет, либо умиление, и потому они либо падают ниц перед Ним и умоляют о прощении, либо славословят. У Гейне нет ни молитв, ни славословия. Его стихотворения проникнуты особым, одному ему свойственным очаровательным и грациозным цинизмом. Он не хочет признать грехи свои: даже теперь, на пороге в иную

жизнь, он остается тем же, чем был в молодости. Он не хочет ни рая, ни блаженства на небесах – он просит Бога вернуть ему здоровье и поправить его денежные дела. "Я знаю, что на земле много зла и пороков. Но я уже привык ко всему этому, да к тому же редко покидаю свою комнату. Оставь меня, Господи, здесь, но излечи только от болезней и избавь от нужды", – пишет он в одном из своих последних стихотворений. Он высмеивает легенды о блаженной жизни в раю безгрешных душ. "Сидеть на облаках и распевать псалмы, – объясняет он, – для меня совсем неподходящее времяпрепровождение". Он вспоминает прекрасную богиню из Лувра (Венеру Милосскую) и славословит ее, как в дни юности. Его стихотворение "Das Hohelied" (Песня песней) – смесь величайшего цинизма, возвышенности, отчаяния и неслыханного сарказма. Не знаю, приходили ли в голову умирающим людям мысли, подобные тем, которые высказаны в этом стихотворении, но с уверенностью заявляю, что никто в литературе не высказывал ничего подобного. В стихотворении Гете "Прометей" далеко нет той вызывающей, непоколебимой, спокойной гордости и сознания своих прав, которые вдохновляли автора "Das Hohelied". Бог, сотворивший небо, землю и человека на земле, Бог волен сколько угодно терзать мое тело и мою душу, но я сам знаю, чего мне нужно, чего я хочу, я сам решаю, что хорошо, что дурно. Таков смысл этого стихотворения, таков смысл всего, что писал Гейне в последние годы своей жизни. Он знал, как знают все, что по философским, этическим и религиозным учениям условием спасения души считается раскаяние и смирение, готовность хотя бы в последнюю минуту жизни отречься от "греховных желаний". И тем не менее, в последнюю минуту он не хочет признать над собой власть тысячелетних мировых авторитетов. Он смеется и над моралью, и над философией, и над существующими религиями. Мудрецы так думают, мудрецы хотят жить по-своему – пусть думают, пусть живут. Но кто дал им право требовать покорности от меня? И может ли быть у них сила, нужная, чтоб привести меня к покорности? Прислушиваясь к словам умирающего, не повторим ли мы за ним его вопрос? И не сделаем ли мы еще шаг вперед? Гейне раздавлен, и если верить (есть все основания верить) тому, что он рассказывает в своей "Песне песней", его мучительная и тяжелая болезнь была непосредственным следствием и результатом его образа жизни. Значит ли это, что и дальше (если будет какое-нибудь "дальше") его ждут новые преследования вплоть до тех пор, пока он добровольно не приспособится к возвещенной или завещанной морали? Вообще, вправе ли мы предполагать, что где-нибудь во вселенной озабочены мыслью о том, чтобы перекроить всех до последнего людей на один манер? Может быть, упорство Гейне указывает на совсем иные намерения властителей судеб. Может, болезни и мучения, уготованные здесь для тех, которые противятся хомутам и шаблонам (эмпирические наблюдения с достаточной несомненностью устанавливают тот факт, что всякие отклонения от нормы и большой дороги с неизбежностью влекут за собой страдание и гибель), есть только испытание человеческого духа. Кто выдержит их, кто отстоит себя, не испугавшись ни Бога, ни дьявола с его прислужниками – тот войдет победителем в иной мир. Мне даже порой кажется, что "там", в противоположность существующему мнению, особенно любят и ценят упорных и непреклонных – от смертных же эта тайна скрыта для того, чтобы слабые и уступчивые не вздумали представляться упорными, чтоб заслужить расположение богов. Тот же, кто не выдержит, отречется от себя, того ждет судьба, о которой обыкновенно мечтают философы-метафизики: он сольется с первоединым, растворится в сущности бытия вместе с массой себе подобных индивидуумов. Я склонен думать, что метафизические теории, проповедующие самоотречение во имя любви и любовь во имя самоотречения, отнюдь не простое пустословие, как утверждают позитивисты. В них есть глубокий и таинственный мистический смысл, в них скрыта великая истина. Их ошибка лишь в том, что они претендуют на безусловность.

Люди почему-то решили, что эмпирических истин много, а метафизическая только одна. Метафизических истин тоже много. Они очень непохожи друг на дружку, но это нисколько не мешает им отлично уживаться меж собой. Эмпирические истины, как и все земные существа, вечно ссорятся и без высшего начальства не могут обойтись. Но метафизические истины устроены иначе и совсем не знают нашего соревнования. Несомненно, что люди, тяготящиеся своей индивидуальностью и жаждущие самоотречения, безусловно правы. Все вероятности за то, что в конце концов они своей цели добьются и сольются с чем им слиться полагается, со своими ближними или с дальними, или, может быть, как хотят пантеисты, даже с неодушевленной природой. Но в такой же мере вероятно, что те люди, которые своей индивидуальностью дорожат и не соглашаются от нее отказаться ни ради своих ближних, ни ради возвышенной идеи, сохранят себя и останутся собой если не навеки вечные, то на более или менее продолжительный срок, пока им не надоест. Так что немцам, по крайней мере, тем немцам, которые оценивали Гейне не с

утилитарной точки зрения (с этой точки зрения даже и я всецело осуждаю его и не нахожу для него никаких оправданий), а с возвышенной, религиозной или метафизической, как принято в наше время, сердиться на него не приходится. Он им помешать никак не может. Они сольются, все до последнего, наверное, сольются в идею, Ding an sich, субстанцию или иное заманчивое единство, и не Гейне с его сарказмами помешать их возвышенным стремлениям. А если он сам и ему подобные упорствующие где-нибудь в стороне будут продолжать жить по-своему и даже высмеивать идеи – неужели это может служить предметом серьезного огорчения?

IX

Что есть истина? Скептики утверждают, что нет и не может быть истины, и это утверждение до того въелось в современные умы, что единственной распространенной философией в наше время является философия Канта, взявшая своим исходным пунктом скептицизм. Но прочтите внимательно предисловие к первому изданию "Критики чистого разума", и вы убедитесь, что вопрос о том, что есть истина вовсе и не занимал его. Ему нужно было только разрешить вопрос, как быть человеку, который убедился в невозможности отыскать объективную истину. Старая метафизика с ее произвольными, бездоказательными утверждениями, в самом деле не выдерживавшими никакой критики, раздражала Канта, и он решил хотя бы признанием относительной правоты скептицизма отделаться от ненаучной дисциплины, которую ему, по положению преподавателя философии, приходилось представлять. Но уверенность скептиков и уступчивость Канта нас ровно ни к чему не обязывает. Да и сам Кант, в конце концов, не выполнил принятых обязательств. Ибо, раз неизвестно, что такое истина, какой смысл имеют постулаты Бога, бессмертия души? Как можно оправдывать, объяснять какую бы то ни было из существующих религий, даже христианство? Хотя Евангелие совершенно не мирится с нашими научными представлениями о законах природы, но оно не включает в себе ничего противного разуму. Чудесам не верят не потому, чтоб они были немыслимы. Наоборот, даже самому простому здравому смыслу совершенно ясно, что основа мира, жизнь – есть чудо из чудес. И если бы задача философии сводилась лишь к тому, чтоб доказать возможность чуда, то дело ее давно и блестяще было бы сделано. Все горе в том, что людям видимых чудес мало, а из того, что многие чудеса уже были, никак нельзя заключить, что и другие, без которых прямо невозможно бывает иной раз жить, тоже в свое время наступят. Люди рождаются – несомненно великое чудо, существует прекрасный мир – тоже чудо из чудес. Но разве отсюда следует, что люди воскреснут после смерти и что для них уготовлен рай? В воскрешение Лазаря в наше время не очень верят даже те, кто благоговеет перед Евангелием, повторяю, не потому, что не допускают вообще возможности чуда, а потому, что никак не могут решить a priori, какие чудеса возможны, какие невозможны и, следовательно, принуждены судить a posteriori: какое чудо было, то охотно признают, а какого не было – в том сомневаются и тем более сомневаются, чем глубже и страстнее желают его. Ничего не стоит уверовать в окончательное торжество добра на земле (хотя это было бы несомненным чудом), в прогресс, в непогрешимость папы (тоже ведь чудеса, и немалые!), ибо *apud s tout*, [12 – в конце концов (фр.)] люди довольно-таки равнодушны и к добру, и к прогрессу, и к папским добродетелям. Гораздо труднее, прямо невозможно поверить перед трупом близкого и дорогого человека, что слетит с неба ангел и воскресит покойника, хотя мир полон явлений не менее чудесных, чем воскрешение умершего. Стало быть, скептики неправы, когда утверждают, что нет истины. Истина-то есть, только мы не знаем ее во всем объеме, а что знаем, того никак обосновать не можем, т. е. не можем себе представить, почему произошло так именно, а не иначе, и в самом ли деле то, что произошло, должно было именно так произойти, как произошло, или могло произойти что-либо совсем иное. Когда-то мы думали, что действительность подчиняется законам необходимости, но Юм объяснил, что понятие необходимости субъективно и поэтому, как обманчивое, подлежит устранению. Его мысль подхватил (без вывода только) и обобщил Кант. Все те наши суждения, которые имеют характер всеобщности и необходимости, приобретают таковой только в силу нашей душевной организации. То есть именно в тех случаях, когда мы особенно убеждены в объективном значении суждения, – мы как раз имеем дело с чисто субъективной, хотя неизменной и прочной для видимого мира уверенностью. Вывода Юма Кант, как известно, не принял, т. е. он не только не сделал попытки выкорчевать из нашего умственного обихода

Шестов Л. Предпоследние слова filosoff.org ложные предпосылки (как сделал Юм с понятием необходимости), но наоборот, объявил, что такое предприятие совершенно неосуществимо. Практический разум подсказал Канту, что хотя по своему источнику основы наших суждений неизменно ложны, но их неизменность может сослужить огромную службу в мире явлений, т. е. на пространстве между рождением и смертью человека. Если человек жил до рождения (как думал Платон) и будет существовать после смерти, то его "истины" ему там, в ином мире, не были и не будут нужны, но здесь они пригодятся. А какие там есть истины и есть ли там истины, Кант об этом только делает догадки, которые ему удаются единственно благодаря его готовности отказаться от последовательности в заключениях. Он вдруг дает вере такие огромные права для суждения об умопостигаемом мире, о которых она никогда и мечтать не могла бы, если бы не была принята под особое покровительство самим философом. Отчего вера может то, чего не может разум? И еще более коварный вопрос: не изобретает ли все постулаты тот же разум, лишенный прав в первой "критике" и получивший впоследствии *restitutio in integrum*[13 - Полное восстановление в правах (лат.).] под условием перемены фирмы? Последнее предположение наиболее вероятно. А раз так, то, стало быть, в умопостигаемом мире, столь тщательно отделенном Кантом от мира явлений, мы найдем не только много нового, но и немало и старого.

Вообще, по-видимому, предположение, что наш мир есть только мир на мгновение, краткое сновидение, совсем не похожее на действительную жизнь, - ошибочно. Это предположение, впервые высказанное Платоном, потом развитое и поддержанное многочисленными представителями философской и религиозной мысли, не имеет за собой никаких решительно данных. Платоном руководило желание освободить жизнь от некоторых явно раздражающих несовершенств. Дело хорошее, что и говорить. Но, как это часто бывает, как только желание облеклось в слова, оно тем самым приняло слишком резкое и прямолинейное выражение, так что перестало быть похожим на себя. Сущность истинной, изначальной и загробной жизни представляется Платону как абсолютное, отделенное от всяких примесей добро, как эссенция добродетели. И ведь, в конце концов, сам Платон не в силах вынести чистую пустоту идейного существования и постоянно приправляет ее элементами, отнюдь не идеальными, что и придает интерес и напряжение его диалогам. Если вы, никогда не имев случая читать самого Платона, ознакомитесь с его философией по учению кого-либо из его поклонников и ценителей, вы будете поражены его бессодержательностью. Прочтите прославленную толстую книгу Наторпа и вы убедитесь, что стоит "очищенное" учение Платона! И вообще, к слову сказать, я рекомендую метод проверки идей знаменитых философов: знакомиться с ними не только по подлинным сочинениям, но и в изложении учеников, особенно верующих и добросовестных учеников. Когда очарование личности и таланта исчезает и остается голая, неприкрытая "истина" (ученики всегда верят, что учитель знал "истину", и показывают ее без всяких прикрас, даже без фигового листа), тогда только становится ясно, как мало имеют значения основные "мысли" даже самых прославленных философов! Еще очевидней это становится, когда верующий ученик начинает делать выводы из положений учителя: чем логичней, добросовестней его выводы, тем вернее он компрометирует своего учителя. Сочинение упомянутого Наторпа, большого знатока Платона, есть *reductio ad absurdum*[14 - Доведение до абсурда (лат.).] идей последнего. Платон оказывается последовательным неокантианцем, ученым и ограниченным, прошедшим хорошую школу в Фрейбурге или Гейдельберге. Вместе с тем оказывается, что идеи Платона в их чистом виде отнюдь не выражают его действительного отношения к миру и жизни. Нужно брать всего Платона с его противоречиями и непоследовательностью, с его пороками и добродетелями, и недостатками его, по крайней мере, настолько же дорожить, как и достоинствами. А то, пожалуй, даже прибавить ему один-другой недостаток и проглядеть хоть одну из его добродетелей. Ибо, вероятно, он как человек, которому не чуждо все человеческое, постарался прибавить себе добродетелей, которых у него не было, и скрыть кой-какие пороки. Так нужно поступать и с другими учителями мудрости и их учениями. Тогда "иной мир" не окажется столь безнадежно отделенным от нашей земной юдоли. И, быть может, найдутся кой-какие эмпирические истины, вопреки Канту, общие обоим мирам. Тогда, стало быть, вопрос Пилата потеряет долю своей всепобеждающей уверенности. Ему нужно было умыть руки, и он спросил, что такое истина. После него и до него многие, которым не хотелось бороться, придумывали умные вопросы и опирались на скептицизм. Меж тем, всякий знает, что истина есть и даже может иной раз определить и формулировать понятие о ней с той ясностью и отчетливостью, которой требовал Декарт. Пределы чудесного ограничиваются теми чудесами, которые мы уже видели на земле, или они гораздо шире? И если шире, то насколько?

X

Еще об истине. Может быть, истина по своей природе такова, что по поводу нее общение между людьми невозможно, по крайней мере, привычное общение при посредстве слова. Каждый может ее знать про себя, но для того, чтобы вступить в общение с ближними, он должен отречься от истины и принять какую-нибудь условную ложь. Однако, важность и значение истины несколько не уменьшается в силу того, что она не может быть предметом рыночной оценки. Даже наоборот, пожалуй, возрастает. Когда у вас спрашивают, что такое истина, вы не умеете дать ответ на этот вопрос даже в том случае, если вы всю жизнь положили на изучение философских теорий. Для себя же, когда вам никому отвечать не нужно, вы отлично знаете, что такое истина. Стало быть, истина по своему характеру несколько не похожа на эмпирическую истину, и прежде чем вступать в область философии, нужно распрощаться с научными приемами искания и с привычными способами оценки знания. Словом, нужно быть готовым принять нечто безусловно новое, несколько не похожее на традиционное старое. Вот почему стремление дискредитировать научное знание вовсе не так уже бесполезно, как это может показаться на первый взгляд неопытному человеку.

Вот почему насмешка и сарказм оказываются необходимым оружием исследователя. Самым опасным врагом нового знания всегда были и будут укоренившиеся привычки. Человеку, с практической точки зрения, гораздо важнее знать то, что может ему помочь приспособиться к временным условиям его существования, чем то, что имеет значение вневременное. Инстинкт самосохранения всегда оказывается сильней самой искренней жадности познания. Причем нужно помнить, что инстинкт располагает бесчисленными и тончайшими орудиями самозащиты, что под командой его находятся решительно все человеческие способности, начиная от бессознательных рефлексов, вплоть до коронованного разума и венценосной совести, – об этом не раз и много уже говорили, так что в данном случае *consensus sapientium* на моей стороне. Правда, об этом говорили, как о нежелательном извращении человеческой природы – и тут я должен протестовать. Я полагаю, что нежелательного здесь нет ничего. Наш разум и наша совесть должны почитать для себя за честь возможность находиться в услужении у инстинкта – хотя бы у инстинкта самосохранения. Им зазнаваться не следует, да они, по правде сказать, не зазнаются и охотно исполняют свое служебное назначение. На первенство они претендуют только в книгах и дрожат при одной мысли о преобладании в жизни. Если бы случайно им предоставлена была бы свобода действий, – они обезумели бы от ужаса, как заблудившиеся ночью в лесу дети. Каждый раз, когда совесть и разум принимают судить самостоятельно, они приходят к уничтожающим результатам. И тогда они с удивлением убеждаются, что и на этот раз они действовали не свободно, а по указаниям все того же инстинкта, но принявшего другой характер. Человеческой душе потребовалась работа разрушения, и она спустила с цепей рабов, которые в диком восторге принялись праздновать свою свободу делом великого разрушения, несколько не подозревая, что они по-прежнему остались, как и были, рабами и работают на других.

Достоевский давно уже отметил, что инстинкт разрушения человеческой душе так же свойствен, как и инстинкт созидания. Пред лицом этих двух инстинктов все наши способности оказываются второстепенными душевными свойствами, нужными лишь при данных, случайных условиях. От истины, как признают теперь не только грубые позитивисты, но даже искушенные в метафизике идеалисты, ничего не осталось, кроме идеи о норме. Истина, говоря более выразительным и понятным языком, существует лишь для того, чтобы разъединенные временем и пространством люди могли установить хоть какое-нибудь общение меж собой. То есть человеку приходится выбирать между безусловным одиночеством и истиной, с одной стороны, и общением с ближними и ложью – с другой. Что лучше? – спросят. Отвечу, что вопрос праздный. Возможен еще третий исход: принять и то, и другое, хотя на первый взгляд это может показаться совершенной несообразностью, особенно для людей, раз навсегда решивших, что логика, как и математика, непогрешима в своих указаниях. Меж тем, на самом деле возможно, мало того, что возможно, – возможностью мы бы не удовлетворились (это только немецкие идеалисты способны удовлетвориться добром, которое нище и никогда не осуществлялось), а сплошь и рядом наблюдается одновременное сосуществование самых противоречивых душевных состояний. Все

люди лгут, как только начинают говорить: наша речь так несовершенно устроена, что в самом принципе своего устройства предполагает готовность говорить неправду. И чем отвлеченнее предмет, тем степень нашей лживости возрастает, так что когда мы касаемся наиболее сложных вопросов, нам приходится непрерывно почти лгать, и ложь тем грубее и несноснее, чем искреннее человек. Ибо искренний человек убежден, что правдивость обеспечивается отсутствием противоречий, и, чтобы не оказаться лжецом, старается логически согласовать свои суждения, то есть доводит лживость свою до геркулесовых столбов. В свою очередь, воспринимая чужие суждения, он применяет к ним тот же критерий и чуть подмечает малейшее противоречие, начинает простосердечно вопить о нарушении основных принципов добропорядочности. Что особенно любопытно – ведь все, изучавшие философию (а я здесь собственно и преимуществом к ним обращаюсь, как читатель, вероятно, давно заметил), ученые люди все прекрасно знают, что до сих пор никому из величайших философов не удалось окончательно изгнать противоречия из своей системы. На что уже был вооружен Спиноза, – и ведь ничего человек не щадил, ни пред чем не останавливался, а между тем, его замечательная система не выдерживает логической критики: это всем известно. Казалось бы, следовало поставить вопрос, да на какого дьявола нам последовательность, и не являются ли противоречия условием истинности мировоззрения? А после Канта его ученики и преемники могли бы спокойно ответить, что последовательность действительно ни на какого дьявола не нужна, и что истина живет противоречиями. Между тем, только отчасти Гегель и Шопенгауэр, каждый на свой лад, попытались сделать такого рода допущения, но извлекли из них мало пользы...

Попробуем из вышесказанного сделать кое-какие выводы: ведь пока логика может быть полезна, отвергать ее услуги было бы ничем неоправдываемой расточительностью. Выводы же, как увидим, не лишены интереса. Прежде всего: когда сам говоришь, никогда не прилаживайся к тому, что ты говорил раньше: это без нужды стеснит твою свободу, и без того закованную в слова и грамматические обороты. Когда слушаешь собеседника или читаешь книги, не придавай большого значения отдельным словам и даже целым фразам. Забудь отдельные мысли, не считайся даже с последовательно проведенными идеями. Помни, что собеседник твой и хотел бы, да не может иначе проявить себя, как прибегая к готовым формам речи. Приглаживайся к выражению его лица, прислушивайся к интонации его голоса – это поможет тебе сквозь слова проникнуть к его душе. Не только в устной беседе, но даже в написанной книге можно подслушать звук, даже и тембр голоса автора и подметить мельчайшие оттенки выражения глаз и лица его. Не лови на противоречиях, не спорь, не требуй доказательств: слушай только внимательно. Зато, когда ты станешь говорить, с тобой тоже не будут спорить и не потребуют от тебя доказательств, которых у тебя, ты это хорошо знаешь, нет и быть не может. Зато тебя не станут донимать указаниями на противоречия, которые, ты знаешь, у тебя были и всегда будут и с которыми тебе больно и прямо-таки невозможно расстаться. Зато, зато – и это самое главное – ты, наконец убедишься, что истина от логики не зависит, что логических истин и нет совсем, что ты вправде, следовательно, искать того, что тебе нужно и как тебе нужно, а не умозаключать, и что, стало быть, в результате исканий если будет что-нибудь, то уж никак не формула, не правило, не принцип, не идея! Ведь подумайте только: пока задачей искания является "истина", как ее теперь понимают, нужно быть ко всему готовым. Примерно к тому, что правыми окажутся материалисты и что, стало быть, в основе мира лежат материя и энергия. Нужды нет, что мы сейчас можем разбить материалистов с их доводами. История мысли знает много случаев полной реабилитации заброшенных и опороченных суждений. Вчерашнее заблуждение завтра может быть признано истиной, даже самоочевидной. А независимо от своего содержания, чем плоха система материализма? Стройная, последовательная, выдержанная. Мне уже приходилось указывать, что материалистическое мировоззрение способно не меньше приводить в восторг людей, чем всякое другое – пантеистическое, идеалистическое и т. д. Да если на то пошло, я снова признаюсь, что на мой вкус нет совсем плохих *an sich* идей: я до сих пор способен с удовольствием следить за развитием идеи прогресса, с фабриками, железными дорогами, аэростатами и т. п. Но все же мне кажется наивностью надеяться, что все эти безделушки (говоря об идеях) могут стать предметом серьезных исканий для человека. Если возможна та отчаянная борьба человека с миром и богами, о которой повествуют легенда и история – вспомните хотя бы Прометея – то, разумеется, не из-за истины и не из-за идеи. Человек хочет быть сильным, богатым и свободным, человек хочет быть царем в мире – вот этот жалкий, ничтожный, созданный из праха человек, которого на ваших глазах, как червяка, губит первый случайный толчок – и если он говорит об идеях, то

Шестов Л. Предпоследние слова filosofff.org

лишь потому, что отчаялся в успехе своей настоящей задачи. Он чувствует себя червяком, боится, что снова придется обратиться в прах, из которого он создан, и лжет, притворяясь, что его убожество ему не страшно – только бы узнать истину. Простим ему его ложь, ибо только устами он произносит ее. Пусть говорит, что хочет и как хочет. Пока в его словах мы слышим знакомые звуки призыва к борьбе, пока в глазах его горит огонь непреклонной, отчаянной решимости – мы пойдем за ним. Мы привыкли разбирать иероглифы. Но если он, как современные немцы, примет истину и норму за последнюю цель человеческих стремлений – мы тоже будем знать, с кем мы имеем дело, хотя бы судьба дала ему красноречие Цицерона. Лучше полное одиночество, чем общение с такими людьми. А впрочем, такого рода общение не исключает полного одиночества и даже, может быть, облегчает трудную задачу.

XI

Я и ты. Очень распространенное выражение – "заглянуть в чужую душу", – на первый взгляд в силу привычки кажущееся чрезвычайно понятным, при ближайшем рассмотрении оказывается до того непонятным, что возникает вопрос – да имеет ли оно вообще какой-нибудь смысл? Попробуйте мысленно наклониться над чужой душой – вы ничего не увидите, кроме пустоты, огромной, черной бездны и в результате лишь испытаете головокружение. Так что, собственно говоря, выражение "заглянуть в чужую душу" – только неудачная метафора. Все, что мы можем – это по имеющимся внешним данным заключить к внутренним переживаниям. От слез мы заключаем к страданиям, от бледности – к испугу, от улыбки – к радости и т. д. Но разве это значит заглянуть в чужую душу? Это значит только дать в собственной голове место ряду чисто логических процессов. Чужая же душа по-прежнему остается невидимкой, о которой только догадываешься, может быть, правильно, а может быть, и ошибочно. Такое заключение вызывает в нас естественное раздражение: что это за подлый мир, в котором нет возможности увидеть как раз то, что более всего нужно видеть. Но для думающего, ищущего человека раздражение – почти нормальное душевное состояние. Каждый раз, когда для него особенно важно удостовериться в чем-либо – он после ряда отчаянных попыток убеждается, что его любознательность не может быть удовлетворена. На этот раз насмешливый разум присоединяет еще новый вопрос: чего искать чужой души, когда ты и собственной никогда в глаза не видел? Да и существует ли душа? Ведь вот многие люди верили и до сих пор верят, что души совсем и нет, и что только существует наука о душе, называемая психологией. Психология, как известно, о душе ничего не говорит, считая, что ее задача ограничивается только изучением душевных состояний, которые, кстати сказать, тоже совсем еще не изучены... Какой отсюда выход? Можно на насмешку ответить насмешкой же или бранью. Можно отнять у психологии право называться наукой и назвать, как это часто делают, материалистов идиотами. Гнев имеет, бесспорно, свои права. Но все это хорошо и имеет смысл, пока ты на людях и тебя слушают. Негодовать же наедине с собой, когда даже не рассчитываешь использовать негодование для литературных целей (ведь даже писатель не всегда пишет и нередко озабочен менее преходящими мыслями, чем предстоящая книга) – так негодовать никому неохота. Предпочитаешь в тысячу первый раз со всеми возможными предосторожностями приблизиться к заколдованному месту. Авось чужая душа только при приближении постороннего человека обращается в невидимку, и если застать ее врасплох, она не успеет исчезнуть. И, стало быть, тяжеловесная психология, всегда, как и всякая наука, прежде, чем что бы то ни было предпринять, возвещающая во всеуслышание о своих планах и способах их осуществления, менее всего годится для поимки такой легковесной и подвижной субстанции, как человеческая душа. Оставим для психологии почетное звание науки, будем даже уважать материалистов, а душу попытаемся выследить иными приемами. Пожалуй, что в глубине темной бездны, о которой говорено раньше, можно кое-что разглядеть – только головокружение мешает. Так что нужно не столько новые приемы выдумывать, сколько приучать себя без страха глядеть в глубину, всегда представляющуюся непривычному взору бездонной. Да, наконец, и бездонность ведь далеко не наверное совсем ни на что не годится человеку. Нам с детства вбили в головы, что человеческий разум может справиться только с ограниченностью. Но из этого только следует, что у нас есть лишний предрассудок, от которого нужно постараться избавиться. Если придется пожертвовать правом бранить материалистов и поучаться у психологии, да еще чем-нибудь в придачу – что ж? ведь нам не привыкать стать! Зато, того и глядя увидим, наконец, загадочное "ты", да,

Шестов Л. Предпоследние слова filosofff.org
пожалуй, еще к тому и "я" перестанет быть проблематическим. Терпение – противнейшая вещь, но вспомните факиров и других мудрецов того же порядка. Только терпением и берут. И ведь, по-видимому, кое-чего добиваются. Не общеобязательных истин – я за это почти готов ручаться. Общеобязательные истины уже давно всем оскомину набили. Я, по крайней мере, не могу равнодушно слышать о них. Даже просто "истина" ничего не говорит моему уху. Нужно найти способ вырваться из власти всякого рода истин. В эту сторону и гнули факиры. Они не могут предоставить доказательств своей правоты, ибо видимая победа никогда не бывала на их стороне. Побеждают штыками, пушками, микроскопами, логическими доводами. Но микроскопы и логика венчают ограниченность. И еще: ограниченность часто укрепляет, но бывает и так, что убивает.

Примечания

1

Всё подвергать сомнению (лат.).

2

Мания величия (лат.).

3

До опыта (лат.).

4

На основании опыта (лат.).

5

Вещь в себе (нем.).

6

Что и доказано (лат.).

7

А всё-таки она движется (итал.).

8

На весь мир (лат.).

9

Согласие мудрецов (лат.).

10

Согласие профанов (лат.).

11

Чистосердечно (лат.).

12

В конце концов (фр.).

13

Полное восстановление в правах (лат.).

14

Доведение до абсурда.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://filosoff.org/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://dostoevskiyfyodor.ru/> Приятного чтения!